

ИЗ ПРОШЛОГО ФИЛОСОФИИ

А. Р. ТЮРГО¹

Избранные философские произведения. М., 1937.

Представления первых людей были ограничены предметами, доступными чувствам, и, следовательно, их языки сводились к обозначениям последних. Масса отвлеченных и общих идей, неизвестных еще большому числу народов, была продуктом времени, и, стало быть, искусство рассуждать лишь со временем сделалось достоянием людей.

Порядок предметов, которые означались первыми, в языках был всюду одинаков, так же как и первые метафоры и первые отвлеченные идеи, управляющие спряжениями и склонениями, как и аналогия наиболее варварских языков (мы ни одного не знаем в его первобытном состоянии), ибо варварство некоторым образом закрепляет прогресс массы людей только тем, что оно лишает их возможности совершенствоваться.

Гений никогда не упускает случая проявить себя. Таким образом, при постоянном употреблении языков невозможно, чтобы сочетание идей, подлежащих выражению, не вызвало потребности в новых знаках, которые отмечали бы новые связи или новые оттенки между идеями. И эта потребность, являющаяся осознанием нашего умственного убожества, открывая нам этот недостаток, научает нас его устранять и становится источником наших богатств.

Поэтому языки наиболее варварских народов весьма далеки теперь от их первых опытов; то же самое происходит со всякими успехами, которые всегда реальны, но иногда весьма медленны. Существует очень мало искусств и наук, начало которых не могло бы восходить до этих первых эпох; все

¹ Продолжение.

искусства опираются на простые идеи, на общие и доступные всем опыты.

Мы видим бесконечный прогресс, совершенный науками, и потеряли из виду незаметное сцепление, посредством которого он связан с первичными идеями.

Вначале светила рассматривались невооруженным глазом, горизонт был первым орудием, и 360 дней лунно-солнечного года служили образцом деления круга на 360 градусов. Звезды от первой до четвертой величины видимы для всех людей. Смена дней и ночей, изменения фаз луны были естественными измерениями времени; смена тепла и холода и потребности земледелия привели к сравнению движения солнца и луны. Отсюда год, месяцы, названия главных созвездий.

Мореплавание заставило затем усовершенствовать астрономию и научило сравнивать ее с географией.

Музыка, танец, поэзия также обусловлены природой человека. Предназначенный жить в обществе, человек проявляет свою радость внешними знаками – он делает прыжки и издает звуки; общая радость выражается посредством хороводов, прыжков и одновременных и нестройных звуков. Мало-помалу привыкали прыгать на один лад, стали соотносить шаги со звуками, последние отделять друг от друга правильными промежутками. Ухо благодаря весьма недолгому опыту и в силу только естественной способности научилось различать первые отношения звуков. Когда появилось желание выразить мотивы радости словами, они были согласованы с размером звуков – таково происхождение танца, музыки и поэзии, создавшейся вначале только для пения. Только со временем стали удовлетворяться одной, свойственной ей гармонией, которую познали лишь после того, как поэзия стала настолько усовершенствованной, что сама по себе могла нравиться.

По мере того как эти искусства совершенствовались, они отделялись вследствие необходимости для каждого особого дарования. Цезуры указывались сходственными звуками, и ухо научилось также различать количество слогов. Необходимость придерживаться размера должна была способствовать развитию и шлифовке языков. Стихосложение с каждым

днем становится все менее свободным, ухо в силу опыта устанавливает себе более строгие правила, и если иго этих правил становилось более тяжелым, то благодаря счастливому возмещению совершенствование языков, новые обороты, умножавшиеся удачные вольности давали также более сил его переносить.

Легкость удерживать в памяти стихи и национальное тщеславие побуждали первобытные народы воспевать свои наиболее достопамятные поступки. Таковы песни современных нам диких людей, песни древних бардов, рунические гимны жителей Скандинавии, таковы также некоторые древние духовные песни, вошедшие в исторические книги евреев, шу-кинг китайцев и романсы современных европейских народов. До изобретения письменности они были единственными историями, историями без хронологических дат и часто загроможденными ложными обстоятельствами.

Бедность языков и необходимость метафор, обусловленная этой бедностью, привели к тому, что стали употреблять аллегории и мифы для объяснения физических явлений. Они являются первыми шагами философии, как мы это еще наблюдаем в Индии.

Мифы всех народов аналогичны, ибо явления, которые приходилось объяснять, и образцы причин, которые придумывали для их объяснения, подобны. Различия, впрочем, существуют, ибо только истина едина, и потому, хотя ход воображения почти всюду одинаков, не все шаги его совпадают. Сверх того, предполагаемые реальными мифологические существа были примешаны к историческим фактам и в силу этого чрезвычайно разнообразились. Пол божеств, который часто зависел от рода слова в языке, должен был также разнообразить мифы у различных народов. Тысячи обстоятельств, вызвавших эти мифы, имели своеобразный характер, но общие отношения последних не уничтожались. Смешения и торговля народов породили новые мифы благодаря двусмысленному пониманию старых, и плохо понятые слова увеличивали их количество.

Рассматривая воображаемые существа как реальные, народы то умножали божества, включая в их число те, которые различные нации придумывали для тех же действий, то

принимали за одинаковые те, которые имели аналогичные атрибуты. Отсюда путаница в истории этих божеств. Отсюда множество их поступков, в особенности когда два народа, имевшие одинаковую мифологию, смешивались. Таковы были индусы. Физика изменялась, не устраняя веры в мифы, которая держалась в силу двоякой любви – к древности и к чудесам, а также потому, что мифы передавались воспитанием из века в век.

Первые истории являются также баснями, изобретенными, чтобы рассеять мрак, покрывавший происхождение империй, искусств, обычаев; их ложность очень легко признать. Все то, что люди изобретают, подчинено только вероятности, т. е. воззрениям того века, к которому относятся эти изобретения. Но то, что они рассказывают, подчинено истине и никогда не может быть опровергнуто позднейшими наблюдениями. Сверх того, памятниками до изобретения письменности людям служили только песни и некоторые камни, на которых эти песни были воспроизведены. Ясно, что в последних больше искали наслаждения и славы, чем заботились об избежании преувеличения. Даже Геродот является еще поэтом. Только после него поняли необходимость говорить правду в истории.

Геродот писал 400 лет спустя после *Гомера*, и, однако, кто такой Геродот? Чем были эти 400 лет? Что представляло собой время Гомера? Каким образом поэзия поднялась так высоко, в то время как история продолжала стоять так низко? Геродот в своей области стоит неизмеримо ниже того уровня, которого достиг Гомер в своей, и один из крупных недостатков Геродота заключается в том, что он слишком подражал Гомеру и старался всюду уснащать свои рассказы украшениями мифа. Знать, что люди жадны к чудесному, иметь достаточно гениальности, чтобы употреблять последнее с энергией и грацией и чтобы всем нравиться, – таков Гомер. Нужны были новые размышления и медленный прогресс, чтобы догадаться, что есть случай, когда это чудесное не может нравиться так, как совершенно голая истина; что любопытство людей может находить в достоверности предметов удовольствие, покой, которые удовлетворяли бы его более, чем количество, разнообразие и причудливость приключений;

что, наконец, средство нравиться, тысячи раз испытанное, не может быть всегда верным.

Эти размышления, этот прогресс имели место во времена послегомеровские и спустя более 400 лет после него. Когда Геродот писал, эти времена еще не наступили.

Часто вещь, требующая меньшей гениальности, чем другая, нуждается для своего осуществления в большем прогрессе во всей массе людей.

Рисование, скульптура, живопись имеют много сходства с поэзией в тех эмоциях, которые испытывает художник, и в тех, которые он хочет сообщить. Естественным началом их является желание сохранять исторические или мифологические памятники; и гений, воодушевленный патриотическим или религиозным рвением, хотел выражать с глубоким чувством и силой идеи и воспоминания, о которых должны говорить эти памятники.

Все эти искусства во многом зависят от различного состояния людей – охотничьего, пастушеского и земледельческого. В последнем состоянии люди, имея возможность образовать многочисленное население и более нуждаясь для ведения своего хозяйства в положительных знаниях, должны были неминуемо делать гораздо большие успехи.

* * *

Знания людей, которые все заключены в актуальном ощущении, различны: одни состоят в чистых сочетаниях идей, как отвлеченные математические науки; другие относятся к внешним предметам, но касаются только, так сказать, их поверхности и их влияний на нас – такова поэзия, таковы искусства стилия; наконец, третьи имеют предметом существование самих вещей. Они восходят от следствий к причинам, от чувств к телам, от настоящего к прошедшему, от тел видимых к невидимым, от мира к божеству. Вера в реальность тел видимых и прежде существовавших предметов, о которых говорит нам память, предшествовала рассуждению. Непосредственная причина наших ощущений не вызывала сомнений; причины движений тел образовали физику, и в первые времена часто смешивали взаимодействие тел с влиянием божества.

Аристотель в труде, который, хотя находится теперь в пренебрежении, является, тем не менее, одним из прекраснейших усилий человеческого разума, сумел поднять анализ до совершенства, исследуя способ, которым пользуется наш ум при переходе от известной истины к неизвестной; он сумел вывести отсюда правила искусства рассуждать и, показывая следствия известного сочетания идей, доказал, как можно обеспечить себя, чтобы одно предложение было законно выведено из другого. Нужно признать, что в остальной части своей философии он ни одного анализа не мог сделать столь же совершенно, ибо перечисление идей было делом не столь легким. Но каким бы полезным ни считать его труд в отношении следствий, он не может служить для получения ясного понятия о причинах. Хотя *Аристотель* предвидел, что все идеи обусловлены чувствами, все же он чрезвычайно долго склонен был считать началами только мнимо отвлеченные идеи, не восходя до их первичных элементов.

Бэкон первый понял необходимость подвергнуть исследованию все эти понятия. Этого было тогда достаточно, чтобы приободрить ученых. Ему должно простить то, что он сам слишком робко преследует свою мысль. Он похож на человека, идущего, опасливо озираясь, по пути, загроможденному развалинами; он сомневается, он колеблется.

Вслед за ним *Галилей* и *Кеплер* кладут своими наблюдениями истинные основания философии.

Но только более смелый, чем его предшественник, *Декарт* задумал и совершил переворот в философии. Система случайных причин, идея свести все к материи и движению составляют дух этого могучего философа и предполагают анализ идей, примера которого мы не находим у древних.

Сбросив иго их авторитета, он, однако, с недостаточной последовательностью относился к элементарным знаниям, заимствованным у них. Прямо поразительно, что человек, дерзнувший усомниться во всем, что он изучил, не постарался проследить прогресс своих новых знаний до своих простейших ощущений. Говорят, что он ужаснулся одиночества, в котором очутился, и не мог выдержать его до конца. Он вскоре возвращается к идеям, от которых сумел себя избавить, и, подобно древним, реализует чистые абстракции; он рас-

смачивает свои идеи как реальности. Он придумывает для них причины соразмерно их обширности. Он увлечен своими старыми предрассудками после того как их уничтожил. Если бы меня не останавливали уважение и признательность, должные такому великому человеку, я бы сравнил его с Самсоном, который, сокрушив храм Дагона, погиб под его обломками.

Его последователи приписывали наши заблуждения иллюзиям чувств, и их преувеличенная оппозиция против чувств имела хорошие результаты. Желая вскрыть, каким образом чувства нас обманывают, научились анализировать способ познания через посредство внешних предметов.

Локку удалось значительно углубить этот анализ. *Беркли* и *Кондильяк* пошли по его стопам. Все они являются духовными детьми Декарта.

Декарт рассматривал природу как человек, который, бросая на нее широкий взгляд, обнимает ее всецело и составляет ее план, так сказать, с высоты птичьего полета.

Ньютон исследовал ее более подробно. Он описал страну, которую другой открыл.

Ученые поставили себе задачей умалить значение Декарта престижем Ньютона. Они подражали тем римлянам, которые, когда император занимал место своего предшественника, отсекали голову у статуи последнего, заменяя ее головой нового императора. Но в храме славы есть места для всех выдающихся гениев. Там можно воздвигать памятники всем, заслужившим их.

С этими двумя могучими гениями случилось то, что обычно происходит во всех областях: великий человек открывает новые пути человеческому разуму; в течение некоторого времени все люди являются еще только его учениками; постепенно, однако, они выравнивают дороги, которые он открыл; они объединяют все части его открытий, они соединяют и приводят в известность свои богатства и силы, пока нарождается новый великий человек, который, поднимаясь над уровнем, до которого его предшественник привел человеческий род, достигает такой же высоты, на какую взлетал этот предшественник со своего отправного пункта.

Без опытов Бекера Ньютон, может быть, и не подозревал

бы, что его принципы смогут привести его к открытию сфероидальности земли. Великий гений не испытывает желания тщательно изучать теорию, если он к этому не побуждается фактами. Люди редко предаются рассуждениям. Потребность чувствовать чужда не многим. Но для того чтобы человек мог решиться на смелое умозаключение, нужна более повелительная потребность.

Говорят, что *Френкл* высказал мысль, что тяжесть, заставляющая тела падать на землю, удерживает планеты на их орбитах. Но от такой неясной и неверной идеи до того пронищательного воззрения, до того гениального взгляда Ньютона, проникающего бесконечность сочетаний и отношений всех небесных тел, до той упорной отваги, которая не устрашается ни глубины исчисления, ни красоты и трудности проблем и которая дерзает приводить в равновесие солнце, светила и все силы природы, – дистанция огромных размеров.

Декарт открыл искусство привести к уравнению кривые. *Гюйгенс* и в особенности Ньютон вдруг внесли свет анализа в бездны бесконечного.

Лейбниц, обширный гениальный ум и систематик, хотел, чтобы его произведения стали центром, где объединялись бы все человеческие знания. Он хотел собрать воедино все науки и все воззрения. Он хотел воскресить системы всех древних философов, как человек, который из развалин всех зданий древнего Рима пытался бы построить царский дворец. Он хотел сделать из своей теодицеи то, что Петр Великий из Петербурга.

Мы обязаны этим великим людям примером и законами анализа, отсутствие которого так долго тормозило успехи метафизики и даже физики.

Можно было бы смешать эти две науки ввиду их общего сходства, которым они отличаются от наук, называемых математическими. Все науки бесспорно обусловлены чувствами, но математические науки имеют то преимущество, что основаны на применении чувств, не допускающих ошибки.

* * *

Необходимость измерять поля, подкрепленная свойством пространства измеряться по отношению к занимаемой им

площади, породила элементарные математические знания. Идеи чисел не менее просты и не менее обычны; именно из этого небольшого количества простых идей, которые легко сочетать, были образованы математические науки, применимые ко всему, что может быть рассматриваемо как величина. Эти науки легко обнять во всей их совокупности, так как все они являются только следствиями отвлеченных определений, заключающих небольшое количество идей. Образуется цепь истин, связанных друг с другом, цепь, где людям остается только признать все сделанные ими шаги, чтобы накапливать истины на истины. Эти истины становятся все более плодотворными. Чем далее углубляешься в область умозрения, тем более открываешь общие формы исчисления, откуда можно исходить к частным истинам, строя частные гипотезы. Истины, сочетаясь, умножаются и вновь сочетаются, откуда рождается новое умножение, ибо каждая становится источником массы истин, которые не менее плодотворны, чем первые.

По мере того как число этих неизвестных истин увеличивалось, по мере того как исследовались свойства большого числа фигур, стали выражать их общие свойства формулами и общими принципами, заключавшими в себе все то, что было известно. Таким образом, даже в математических науках начали с исследования некоторых простых фигур, небольшого числа свойств линий, общие же принципы являются продуктом времени.

Так как полагали, что наилучшим порядком является тот, где из одного принципа вытекает масса следствий, то для того чтобы его ввести в математические произведения, оказалось необходимым из века в век переделывать целиком метод обучения. То обстоятельство, что этот порядок, казавшийся естественным, был произволен; что в геометрии, где выражаются общие отношения фигур, эти отношения взаимны; что можно равным образом вывести принцип из следствия или следствие из принципа (уравнение эллипса может быть выведено из его построения, как его построение из его уравнения), – все это не было замечено.

Предпочтительным же является тот метод, который прослеживает шаги человеческого разума в его открытиях, делает

понятным рождающиеся из всех частных истин общие аксиомы и в то же время показывает способ, посредством которого они связывают между собой все предшествовавшие истины. Таким образом, изображение успехов математики подобно Олимпу поэтов, вершина которого была обращена к земле и который, по мере того как он удалялся от земли, расширялся до того, что сливался с небом; так геометрия расширилась до бесконечности. Частные истины приводят к более и более общим формулам, и даже в математике нужно отправляться от частного к общему.

Но когда общие принципы найдены, какую быстроту сообщают они прогрессу этих наук! Алгебра, приведение кривых к уравнению, анализ бесконечного! Это непрерывный ряд гипотетических истин, достоверных уже в силу самого характера своего образования и в то же время подтверждаемых природой. Ибо первые гипотезы отнюдь не были произвольными, они были основаны на идеях протяженности, которые мы получаем через наши чувства и которые последние нам дают только потому, что действительно есть существа, занимающие пространство в природе.

* * *

Математика отправляется от небольшого количества идей и сочетает до бесконечности отношения. В физических науках происходит как раз обратное: там речь идет не о цепи идей и отношений, но о фактах и идеях, предмет которых существует в настоящем или существовал в прошлом (будущее может быть только математическим) и истинность которого состоит в совпадении наших воззрений с этим предметом.

Под *физическими* науками я разумею *логику*, являющуюся наукой об операциях нашего ума о происхождении наших идей; *метафизику*, занимающуюся природой и происхождением существ, и, наконец, *собственно физику*, наблюдающую взаимодействие тел между собой и причины и сплетение чувственных явлений. Можно было бы сюда добавить историю, достоверность которой никогда не может быть так велика, потому что связь фактов не может быть столь тесна, и потому, что факты, уже давно прошедшие, могут только с трудом быть подвергнуты новому исследованию.

Так как природа всегда неизменна, то посредством опытов можно воспроизводить на наших глазах те же явления или произвести новые, но если первоисточники какого-либо факта внушают мало доверия, факт навсегда остается сомнительным, и мы никогда не можем узнать его точные следствия.

Я не имею в виду такие науки, как мораль и политика, зависящие от себялюбия, регулируемого справедливостью, которая сама является только чрезвычайно просвещенным себялюбием. То, что я говорю вообще о различии между науками, основанными на сочетании и наблюдении, должно быть к ним применено. Изучая их, человек не может ограничиваться небольшим количеством принципов. Он одновременно осаждается всеми идеями, вынужденный собирать их в массу, ибо все существа связаны в силу существующего между ними взаимодействия, и в то же время ему приходится заботливо разлагать эти идеи до их простейших элементов.

Логика основана на анализе языка и приведении изображений предметов к составляющим их простым ощущениям. Метафизика должна была благодаря этому анализу сделать некоторые успехи. Прежде чем наши ощущения были анализированы и их причины обнаружены, реальное однообразие материальных существ для нас оставалось скрытым. Голубое и красное тела должны казаться различными, и едва ли можно было бы подозревать, что между ними существует нечто общее, если бы чувства не показывали само рассматриваемое тело как существующее вне нас, способное принимать различные цвета и появляться наделенным различными чувственными качествами. Отсюда различие между *субстанцией* и *формой*, различие, которое, однако, не метает рассматривать сначала как существа, пребывающие вне нас, хотя существование их *формы* без содержания невозможно. Отсюда заблуждения большинства философов.

Все эти идеи о субстанции, сущности и материи, столь сбивчивые у древних, так как они не были достаточно тщательно прослежены до первичных чувственных идей, употреблялись во всей их двусмысленности. Какие успехи нужно было сделать для их объяснения в области самой физики, движение которой эти заблуждения тормозили! Ибо метафизика и физика имеют взаимную потребность одна в другой.

Сколько времени понадобилось для открытия, что все чувственные явления могут объясняться фигурами и движениями. Декарт первый хорошо понял эту истину. До него физика, лишенная этой степени анализа, оставалась почти смешанной с метафизикой.

Заблуждения этой последней зависят от способа, посредством которого мы получаем через наши ощущения представление о вне нас пребывающих существах. Связывая цветовые точки, мы образуем себе идею о видимом пространстве; путем соединения некоторых ощущений, производящих в нас сопротивление, оказываемое нашему телу извне, мы создаем себе идею об осязаемом пространстве. О существовании тел, являющихся связью и общей причиной наших ощущений, мы убеждаемся посредством рассуждения; но инстинкт или, если угодно, связь идей, рожденная из опыта, опередила рассуждение, и сами тела смешивали с их чувственными качествами. Эта идея неминуемо должна была породить во всей метафизике неясность, о которой мы говорим и которую легко понять, если принять во внимание, что наше суждение о существовании внешних предметов является только результатом их отношений к нам, их влияний на нас, наших опасений, наших желаний, нашего пользования ими.